

В муках религиозных гонений, в кошмаре Советской России раскрылась заново не теоретически, а с побеждающей силой реальность, подлинность бытия Божия – во внутреннем опыте Креста. Об этой реальности Божией, раскрывающейся в мире среди страданий и мук наших, об этой силе, просветляющей мир и осмысляющей мир и жизнь, свидетельствовал Достоевский, не теоретически, не заученно-догматически, а потому, что он был покорен ею.

Он с несравнимой, с небывалой в человеческой мысли силой поднял проблему зла и осмелился во имя чувства этической правды начать тяжбу с Богом, поднять крик отчаяния и сомнения – и получил ответ... в реальности Бога, раскрывающейся в страданиях мира (силою Креста). Реальности, вошедшей в мир и потому просветляющей мир и страдания его. «Меня дразнили необразованной и ретроградной верой в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицания Бога, какое положено в “Инквизиторе” и в предшествовавшей главе, которому ответом служит весь роман. Не как дурак же (фанатик) я верую в Бога...» (Из “Записной книжки”, под заголовком “Карамазовы”. См. в “Материалах к Бесам” (разговор Ставрогина с Шатовым): «Источник жизни и спасение от отчаяния всех людей и условие *sine qua non* для бытия всего мира заключается в трех словах: “Слово плоть бысть”, и веру в эти слова».

## В Л А Д И М И Р С О Л О В Ь Е В

Загадочным до известной степени встает перед нами образ знаменитого русского философа и богослова В.С. Соловьева, со дня кончины которого (30 июля 1900 г.), в этом году, исполнилось 25 лет. Много он возбуждал споров, вызывая к себе различное отношение и рождая колеблющиеся оценки. После периода чрезвычайного увлечения Соловьевым религиозно-настроенными кругами нашего образованного общества (отметавшими, однако, католические тенденции Соловьева, которые, правда, являлись в глазах этих русских религиозных кругов чем-то несущественным, случайным в облике Соловьева, что вряд ли вполне верно), после этого периода увлечения Соловьевым, наступил для него период менее сочувственной оценки, более суровой критики. А главное, по-видимому, он стал, в известной мере, чужд новым поколениям религиозно-чувствующих и мыслящих кругов русского общества, стал им мало понятен, гораздо менее понятен, чем Достоевский и Хомяков; особенно последний, со своим глубоким проникновением в мистическую жизнь Церкви становится нам все более доро-

гим и близким. – А, раз чужд, далек, мало понятен, то – нередко и мало привлекателен. Опасность в том, чтобы, чрезмерно поддаваясь только настроениям эпохи, погрешить против объективности в отношении к этому замечательному и необычайно одаренному русскому религиозному мыслителю. С другой стороны, пережив страшные потрясения, находясь на решающей черте в русской духовной жизни, мы, может быть, в состоянии более ясно видеть настоящее место того или другого явления в истории этой духовной жизни русского народа. В свете ужасных потрясений, перенесенных нашим народом, много ложных ценностей пало, многое подверглось переоценке, многое забытое или казавшееся забытым, отодвинутое, казалось, на задний план, воссияло опять перед нашим взором – или вернее: оно всегда продолжало сиять в неувядающей красоте и силе, и лишь рассеялся туман, застилавший многим глаза. К какому же разряду явлений русской духовной жизни следует отнести Владимира Соловьева? Ответ на это мы постараемся дать в наших кратких очерках.

## I

У Владимира Соловьева есть огромная **историческая заслуга** перед русским образованным обществом: будучи высокоодаренным мыслителем, стоя на высоте развития современной философии и науки, он со всей силой своего убеждения и своего таланта сделался сознательным апологетом и защитником, более того – проповедником Христианства **как высшей истины**, как такой высшей истины, которой не приходится стыдиться, а которая в полной мере отвечает на все высшие запросы человеческого духа. Русские образованные круги были в значительной части своей (в так называемой “интеллигенции”) увлечены, как известно, модой неверия и материализма. Вера, конечно, жила и не умирала и в среде самых образованных, выдающихся русских людей, тем самым не принадлежавших к радикальной “интеллигенции”, и тогда (вспомним, что первые годы деятельности Соловьева совпали с последними, особенно значительными годами Достоевского), но часто с верой не соединялась какая-либо работа философствующей мысли. Нужно было в этом отношении продолжать с большой систематичностью и в ином масштабе дело славянофилов: Ивана Киреевского и Хомякова (отчасти и Достоевского). Нужно было заново “евангелизировать” многие круги русского общества (особенно русскую “интеллигенцию”), а верующим придать смелость и бодрость, не смущаясь насмешек и господствующих настроений, быть всегда готовым пред лицом агрессивного неверия “дать отчет в своем уповании”. Пример этого показал Владимир Соловьев всей своей деятельностью христианского мыслителя.

Особенно выдающимися в этом отношении, произведшими глубокое впечатление, были его знаменитые “Чтения о богочеловечестве” (1877–1881), произнесенные им, еще молодым человеком, в С.-Петербурге, в Соляном Городке перед обширной аудиторией из “интеллигенции”, а равно и верующих кругов образованного общества. Высокую, сокровенную мудрость плана Божия о мире и человеке старается раскрыть он перед своими слушателями, старается показать, что все линии этого плана, как радиусы к центру, сходятся к воплощению Богочеловека. Освещенная из этого центра, судьба мира и человека получает внутреннюю законченность и смысл. Этот смысл и цель всего творения есть **всеединство в Боге** (основная и любимая мысль Соловьева). Те же мысли развиваются в другом его апологетически-философском труде: “Духовные основы жизни”. Все должно быть восстановлено, все должно быть освящено победною силою Духа. “Духовное начало именно в своей победе над враждебною природою должно показать свое превосходство, не истребляя и не поглощая эту побежденную природу, а восстанавливая в новом лучшем образе бытия. Воскресение есть внутреннее примирение материи и духа, с которым она здесь становится одно, как его реальное выражение, как *духовное* тело”<sup>\*</sup>.

Окончательная и отличительная истина христианства состоит “в одухотворении и обожествлении плоти”. В этом смысл воскресения Христова. Оно не есть только один из фактов евангельской истории, увенчивающий земное поприще Христа, – оно есть начало новой, грядущей и притом конечной, завершительной стадии в истории мира: действительной победы Жизни над Смертью, Царства Вечной Жизни. Вся тварь призвана принять участие в этой победе. Гимном этой радости всемирного воскресения звучит его замечательное “пасхальное” письмо: “Христос воскрес!”

Носителем зачатка этой грядущей всеохватывающей Вечной Жизни, этого грядущего **всеединства** является великий организм Тела Христова – Церковь. “Это тело Христово, являющееся сперва, как малый зачаток в виде немногочисленной общины первых христиан, мало-помалу растет и развивается, чтобы в конце времен обнять собою все человечество и всю природу в одном вселенском богочеловеческом организме, потому что и остальная природа, по словам Апостола, с надеждой ожидает сынов Божиих...” Это мистическое и глубоко православное учение о Церкви, тождественное и с учением Хомякова, Владимир Соловьев не смог, однако, удержать до конца в полной чистоте, а привнес потом в свои построения внешне-юридические, формальные черты римской концепции о роли папского престола.

---

\* Курсив Соловьева.

## II

Владимир Соловьев не только философ-апологет, философствующий проповедник Христианства, не только крупный мыслитель, он вместе с тем и **мистик**, как отчасти в своем учении, так особенно в своем духовном опыте. В этом и его значительность, его глубина, в этом – центр его учения и личности. Видимый мир для него покров, сброшенный на иной, более настоящий мир, живущий более полной, более совершенной – божественной, духовной жизнью. Этот иной, высший мир для него не только философская концепция, он для него реальность, жизнь и истина, он ощущает его близость своим духом, он погружается в него в своих созерцаниях, он ищет и находит следы его присутствия, его непосредственной близости в окружающей нас эмпирической действительности:

Не веруя обманчивому миру,  
Под грубую корою вещества,  
Я осязал бессмертную порфиру,  
Я узнавал дыханье Божества.

Особенно вдохновенно говорит Владимир Соловьев об этом истинном, имеющем нам открыться, стало быть для нас грядущем (а на самом деле вечно данном, вечно существующем в Боге, божественном) мире в своей замечательной статье: “Общий смысл искусства” (одном из наиболее привлекательных и глубоких его произведений).

Касаясь этих мистических глубин той, более реальной, божественной действительности, являющейся постоянным центром ее притяжения и источником ее пафоса, мысль Владимира Соловьева в своем отношении к этой здешней, земной, эмпирически данной нам действительности как будто двоится или даже троится. То он как будто готов отметать ее – она лишь ложный покров (“кора”), временно сброшенный на нас грехом и несовершенством:

Не веруя **обманчивому** миру,  
Под грубую **корою** вещества...

Действительно лишь То – истинное, совершенное, божественное: “нетленная порфира”. Свернется, разорвется временный, обманчивый покров, и раскроются бездны истинной божественной жизни. С другой стороны, ощущение присутствия божественного в мире так сильно у Соловьева, что оно уже теперь освящает мир. Это придает космической мистике Соловьева иногда ярко-пантеистический оттенок. Типичным для этого настроения являются стихи:

Земля-Владычица, к Тебе чело склонил я...

Этот пантеистический уклон мысли Соловьева с большой силой и убедительностью вскрывает кн. Е.Н. Трубецкой в своей книге, посвященной философии Соловьева.

Наконец, третья возможность решения вопроса о взаимоотношении абсолютного, вечного с относительным и преходящим состоит в том, чтобы не отметать преходящее, как грубую лишь кору, но вместе с тем и не воспринимать его в пантеистическом освещении, как нечто божественное, а, ощущая ярко и болезненно **падение**, падшее состояние дальнего мира, видеть в нем вместе с тем и носителя Божественного, присутствие которого мистически уже сейчас просветляет все. Эта мысль развивается Соловьевым, например, следующим образом в “Чтениях о богочеловечестве”: “Тот мир, который по слову Апостола весь во зле лежит, не есть какой-нибудь новый, безусловно отдельный от мира божественного, состоящий из своих особых существенных элементов, а это есть только другое, недолжное *взаимоотношение*\* тех же самых элементов, которые образуют и бытие мира божественного. Недолжная действительность природного мира есть разрозненное и враждебное друг к другу **положение** тех же самых существ, которые в своем нормальном отношении, именно в своем внутреннем единстве и согласии, входят в состав мира божественного”.

Впрочем, в этих различных типах отношения к видимому эмпирическому миру часто гораздо меньше противоречия, чем это кажется: часто это лишь различные подходы, различные точки зрения, исходящие из того же единого мистического опыта о **той** – истинной, подлинной действительности.

Наряду с этой так сказать **космической** мистикой – усматриванием Божественной действительности за призраком преходящего мира или в глубинах самого этого преходящего мира – была у Соловьева и мистика личная – ощущение чего-то – Безмерного и Божественного, превосходящей красоты, встающей неожиданно в безмолвии и одиночестве пред трепетною душою. Эти переживания запечатлены им не в философских его сочинениях, а в ряде стихотворений определенно мистического характера (“Позабудешься ли днем иль проснешься средь ночи; Кто-то здесь, мы вдвоем; Прямо в душу глядят лучезарные очи Темной ночью и днем”, и ряд других стихотворений).

### III

Соловьев безусловно мистик, с личным мистическим опытом: в этом его сила. Ибо не из книг только заимствовал он, и не в умозрениях только рассуждал он о том, а в самом себе ощущала иногда его душа внезапно пробивающийся ключ жизни, внезапно осеняющее ее крыло Вечности.

Весь свет земного дня вдруг гаснет и бледнеет,  
Печалью сладкою душа напоена:  
Еще незримая, уже звучит и веет  
Дыханьем вечности грядущая Весна.

---

\* Курсив Соловьева.

И вместе с тем он не только мистик, но и мыслитель, философ, он философ-апологет Христианства.

В этом соединении мистики с философским мышлением большая сила и значительность Соловьева. И вместе с тем тут же коренятся и те крупные слабости, которые отчасти затемняют в наших глазах его достоинства, делают нам столь многое в нем чуждым и неприемлемым.

Из стремления рационально оправдать христианство рождается своеобразный, а подчас и просто безвкусный, рационализм, который логическими формулами старается наглядно доказать и вывести тайны Божественной жизни, глубины бытия Троичного Бога. Тут он следует Гегелю и Шеллингу, и нужно сказать, что соединение церковной веры, церковного догмата с рационалистическими потугами, при его убеждении в неотразимости своих часто внешне формальных аргументов, высказываемых притом тоном, не допускающим сомнения, производит у Соловьева впечатление какой-то легкомысленной самоуверенности и даже, я сказал бы, какого-то недомыслия. И вместе с тем этот рационализм порождает иногда и определенно **гностические** течения мысли (недаром Соловьев так любил и порой восхвалял гностиков) – так в учении о мировой душе и в некоторых других особенностях философии Соловьева (в учении о Софии, что стоит в связи и с его мистикой).

Тот же рационализм заставляет его в учении о Церкви идею **мистического организма** заменить идеей **церковной монархии** (“теократия” – любимая идея и, кажется, любимое слово Соловьева, причем “теократия” – владычество Бога часто понимается им, как владычество Богом установленной иерархии, а затем и “главы” этой иерархии – Папы). И это ведет его к римскому представлению о Церкви, с преувеличенным, чисто римским подчеркиванием момента внешнего объединения вокруг единого видимого главы церковной организации.

Еще больше опасностей уже не рационалистического, а чисто духовного характера, вырастает из мистики Соловьева. Трудно отвлечься от представления, что в этой мистике были нездоровые, эротические тона – недаром Божественное представляется ему в образе женственной красоты, Небесной Возлюбленной. Понятными становятся пантеистические, натуралистические оттенки в мысли Соловьева, ибо мистика его носит порою не христианский, а я сказал бы чувственно-гностический характер. Описание трех видений Небесной Возлюбленной в безвкусных, смахивающих на плохой фельетон (фельетонный стиль вообще часто присущ Соловьеву) стихах поэмы “Три встречи” вряд ли не было бы сочтено за “преlestь” трезвыми и вдумчивыми отцами-аскетами и мистиками Православной Церкви (напр. Григорием Синаитом)\*.

---

\* Если бы католики усмотрели эту черту у Владимира Соловьева, носились ли бы они так с Соловьевым? Ведь, и Римско-Католическая Церковь в принципе очень строга к проявлениям того, что она называет “ложной”, т.е. эротически, натуралистически, язычески окрашенной мистикой.

Отсюда же и чрезмерное значение, приписываемое “половой любви” (правда, религиозно-мистически просветленной), не как одной из возможных ступеней, притом, разумеется, важной и значительной, согласной с природой и благословенной Богом, а **необходимой** ступени к высотам любви горней (“Смысл любви”).

Эти идеи, еще больше эти настроения Соловьева, в значительной степени уравниваемые у него другими, более бесспорными для нас элементами его философии, вдохновили и его продолжателей и эпигонов. Более того, доведенные до крайних пределов, преувеличенные и искаженные, эти идеи и настроения способствовали зарождению и распространению того духа ложного экстаза, того чувственно-мистического эротизма, который своей мутной волной захватил значительную часть русского религиозно-философского движения начала XX в. и вылился в религиозно-философскую кружковщину и хлыстовщину, связанную с именами А. Белого, поэта С. Соловьева, Вяч. Иванова, отчасти Мережковского, и прочих. Этот дух ложной, буйной (или хотящей быть буйной, “оргастической”, а на самом деле просто чувственной) мистики много причинил вреда здоровому развитию религиозного чувства в среде русской интеллигенции. Стоит прочесть “Воспоминания о Блоке” Андрея Белого, чтобы развернулась пред нами эта глубоко интересная и поучительная и вместе с тем отталкивающая картина истерики, потуг на глубокомыслие и мистику, кликушества и эстетически-эротического восприятия религии, являющегося иногда большим оскорблением для религиозного чувства, чем материалистический атеизм. Моральную гниль этой атмосферы в петербургских кругах (Белый больше изображает московские круги) талантливо изобразил А.Н. Толстой в первой части своего “Хождение по мукам”. Часть ответственности за эту атмосферу нездорового эротизма и мистицизма падает на традицию, идущую от Владимира Соловьева: достаточно прочесть то, что пишет А. Белый об “автоматических” письмах Небесной Возлюбленной (!) к Соловьеву, найденных в его бумагах, и его переписку с Анной Шмидт с комментарием к ней С.Н. Булгакова (в “Тихих Думах”, 1918 г.).

#### IV

Отошла пора экстатических, дионисических восторгов литературной кружковщины, страшная война и беды, павшие на Россию, закончили с этой атмосферой неистовых выкриков и квазирелигиозного, эротически окрашенного истерического суемудрия. Серьезная, страшная пора, великие страдания, борьба с силами Антихриста требуют и более серьезного, собранного настроения, трезвенного, чистого, бодрого, религиозного чувства, укоренения в истинном, а не в истерически искаженном в духе Мережковского христианстве,

укоренения в глубинах церковной жизни. Не страшны уже поэтому облетевшие осенние листья кликушеского периода русской мысли – вопли Мережковского и Андрея Белого. Та гнилая струя прошла безвозвратно, безвозвратно одряхла она и канула в пропасть. Суд, немилосердный, суд наш, ближайших потомков, уже произнесен над нею, и вряд ли он будет кассирован когда-либо. И потому в нашем отношении к Владимиру Соловьеву мы можем уже отделить его от “соловьевщины”, ибо отвернулся бы он сам от этого – прямо можно сказать – искажения некоторых тенденций, данных в его философском творчестве, но в значительной степени просветленных и уравновешенных в нем основным христианским духом его философии. Поэтому, не только можем мы, но и должны мы помянуть добрым словом великого русского философа и великого христианского мыслителя. Заслуги его, как я сказал, велики. Если они не всегда достаточно ясны нам, то происходит это с одной стороны от того, что он в значительной степени проповедовал христианское и церковное учение, которое нам стало близко и дорого и без Соловьева, в непосредственном, непреломленном своем виде. А с другой стороны, оттого не всегда нам понятны его заслуги, что проповедь его христианской философии и христианской политики **имела успех**, найдя отклик во многих сердцах, и многие из его идей, вытекающие из церковного учения, вошли в нашу плоть и кровь, вошли в общую сокровищницу русской духовной традиции (так, напр., чрез влияние Соловьева на братьев кн. С.Н. и Е.Н. Трубецких, явившихся носителями **истинно национального и истинно церковного духа**).

Не преодолен, однако, еще и доньне соблазн, вытекающий для русских православных людей из проповеди Соловьевым римского католицизма, которая, может быть, делает честь его искренности, но не согласна с такими его собственными заявлениями из “Оправдания Добра” (слова, которые мог бы написать и Хомяков): “Умы... стремящиеся заменить внутреннее мерило правды внешним, терпят естественное воздаяние в роковом крушении своих попыток”.

Учение Владимира Соловьева о Церкви с его определенно-католическими выводами требует внимательного изучения и опровержения не столько даже посредством внешних исторических аргументов, сколько чрез критику, исходящую из самых основ, самих глубин учения о Церкви. Это – наша очередная задача по отношению к духовному наследству Владимира Соловьева. Вместе с тем понятным становится некоторый **отход наш от Владимира Соловьева**, в связи с нарастающей волной церковной и национальной традиции, все более захватывающей образованные круги русского народа, находящиеся в рассеянии.

Но один завет, один идеал Соловьева (близкий к заветам Хомякова) да пребудет нам дорог, как заветная цель всего процесса развития человечества и мира – идеал **Вселенскости, Всеединства в Боге**. Ибо в этих словах: “Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне и



Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино”, коренится, как я указывал, весь пафос религиозно-философского творчества Владимира Соловьева. И это да не забудется ему!

## ЗАВЕТ ЦЕЛОСТНОГО ДУХА

(Славянофилы и мы)

Счастье, если у народа есть духовные вожди. Русский народ имеет духовных вождей в лице славянофилов. Наша эпоха сознает это все больше, наша молодежь, как и наша церковная мысль, тянется не столько к близкому по времени Владимиру Соловьеву и к гностическим вычурам некоторых порожденных от него религиозно-философских течений (за которые он, конечно, лишь отчасти ответствен), сколько все больше к Достоевскому и Хомякову. Проходит время кликушески-истерических завываний, серьезная пора требует серьезной настроенности, собранности, трезвости, **подготовки подвига**, цельности духа. Вновь открываются перед взором, затуманенным было чадом интеллигентщины, незыблемые святыни Православия, проходит пора выкриков и неистовых дионисически-интеллигентских верчений, рассеивается болотный дух, болотный смрад эстетизированного интеллигентского хлыстовства, которым болели многие представители прошлого поколения, гаснет светоч Мережковского и других представителей упадочного духа, которые с завыванием призывали Антихриста... Ибо тяжелое время, тяжелое народное горе, тяжелая ответственность. Не отдельные голоса, не отдельные пророки – их еще нет в настоящем у нас, – **само время**, которое мы переживаем, зовет к бодрому, трезвому служению, служению духа, служению всеми силами, к жертвенному отдаванию и закалению себя в неустанной работе, к **цельности духа**.

И тут нашими учителями, нашими вождями, голосом зовущего и яснее указывающего путь являются для нас славянофилы. Ведь, и мы пережили то, чем они жили, из чего родилась вся их духовная жизнь, их проповедь, подвиг их жизни – и нас, но гораздо более, через сотрясения, через муки, в борьбе, казалось бы, безысходной и безнадежной, охватило органическое, огромное, преодолевающее, полное радостной, победной уверенности, чувство России. Мы поняли, что национальное есть законное и необходимое выражение Вселенского. Оно не смеет, не должно заслонять Вселенского, но оно освящается Вселенским. Мы поняли, что без религиозного основания, без основания Церкви нельзя строить и нельзя возродить народной жизни. Мы поняли, что Церковь, которую презирали наши интеллигенты, и которую стремились исказить наши религиозные эклектики, стараясь соединить ее с духом язычества и языческих оргий, что она есть самое святое, самое дорогое, самое великое, ибо в ней живет и дышит Дух